

Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ¹

В выборе своих застольных друзей он руководствовался помимо прочих обычных максим, несомненно, еще двумя другими. Во-первых, он выбирал их различных профессий: служащих, профессоров, врачей, священников, специалистов по торговле, а также молодых учащихся, чтобы создать в общении разнообразие. Во-вторых, все его друзья по застолью были младше его, часто очень намного младше. В последнем он, видимо, имел двойной умысел: живостью энергичного возраста придать компании большую жизнерадостность и светлое настроение, затем также, насколько возможно, избавиться себя от скорби о ранней смерти тех, к кому он когда-то привык. Опасными заболеваниями своих друзей он был в высшей степени обеспокоен и заходил в этой боязливости так далеко, что можно было подумать, он не перенес бы их смерть. Он часто справлялся об их состоянии, с нетерпением ожидал кризиса болезни, и это даже нарушало его работу. Но как только они умирали, он проявлял спокойствие, можно даже сказать, чуть ли не равнодушие. Он рассматривал жизнь вообще, особенно болезнь, как постоянное изменение, о котором стоит добывать информацию; а смерть — как неизменное состояние, о котором достаточно одного сообщения взамен многих и при котором теперь уже ничего не может произойти. И работал он после этого невозмутимо, потому что все его опасения заканчивались. Несмотря на последнюю из этих максим и на правила предосторожности при выборе сотрапезников, некоторых из них он все

¹ Продолжение. Начало см. в: *Кантовский сборник*. 2012. 1 (39). С. 55–61. Перевод с немецкого текста Э.А.К. Васянского осуществлен в рамках проекта «Центр переводов и межкультурной коммуникации» Федеральной программы развития БФУ им. И. Канта и выполнен по изданию: *Immanuel Kant: sein Leben in Darstellung von Zeitgenossen / die Boigr. von L.E. Borowski, R.B. Jachmann und E.A. Ch. Wasianski / Hrsg. von Felix Gross; neudr. der Ausg. Berlin 1912; mit einer neuen Einl. von Rudolf Malter. Darmstadt, 1993. S. 191–271 (Иммануил Кант. Его жизнь в описании современников. Биографии Л.Э. Боровского, Р.Б. Яхмана и Э.А.К. Васянского / под ред. Ф. Гросса ; печ. по Берлинскому изданию 1912; вступ. ст. Р. Мальтера. Дармштадт, 1993. С. 191–271).*

же рано потерял. Особенно сильно на него подействовала, при всем его самообладании, потеря инспектора Эренбота, молодого человека проницательного рассудка и подлинной, обширной учености, которого он крайне высоко оценивал.

Предметы разговора большей частью брались из метеорологии, физики, химии, естественной истории и политики, но особенно остро обсуждались происшествия дня, как нам их представляли газеты. Сообщению без указания места и времени, как бы правдоподобно оно ни было во всем остальном, он никогда не доверял и находил его не стоящим упоминания. Его особая проницательность в политике помогала ему очень глубоко видеть суть событий, что часто производило впечатление разговора с дипломатической персоной, посвященной в кабинетные тайны. Во время войн революционной Франции он обронил несколько предположений и парадоксальных высказываний, особенно в отношении военных операций, которые сбылись так же точно, как его великое предположение о том, что между Марсом и Юпитером нет бреши в планетной системе, полное подтверждение чего он получил, когда Пьяцци в Палермо была обнаружена Церера, а Д. Олберсом в Бремене — Паллас. Эти открытия стали для него большой сенсацией, он часто и много говорил о них, не упоминая, однако, что он уже давно предполагал это. Необычным было его мнение, что Бонапарт не планировал высадиться в Египте. Кант восхищался тем искусством, которым тот столь тщательно пытался скрыть свое истинное намерение высадиться в Португалии. Ввиду большого влияния Англии на Португалию он рассматривал эту страну как английскую провинцию, покорением которой Англии мог быть нанесен ощутимый удар, в связи с чем был бы остановлен ввоз в Португалию товаров английских мануфактур и вывоз из нее портвейна, этого незаменимого любимого напитка англичан. Привыкший демонстрировать многие факты априори, он оспаривал высадку в Египте даже тогда, когда газеты уже объявили ее успешно завершенной, и считал эту затею совершенно аполитичной и непродолжительной. Его друзья были достаточно уступчивы, чтобы не возражать, а успех экспедиции в целом был для него достаточным оправданием. Обсуждались новейшие открытия и события, взвешивались аргументы за и против, и так беседа становилась поучительной и приятной. Однако *Кант* проявлял себя не только приятным собеседником, в чем он был абсолютно превосходен, особенно в молодые годы, но также любезным и либеральным хозяином, который как таковой не знал друзей больших, чем его гости, когда они, веселые и довольные, сытые духом и телом, покидали его стол после сократической трапезы.

Сразу после еды *Кант*, как правило, выходил на прогулку, которая была столь необходима для поддержания здоровья при его сидячем образе жизни. Однако он никогда, причем сознательно, не брал с собой на прогулку компаньонов. Одну из двух причин этого отгадать легче, чем другую. Своим идеям, рождавшимся на воле, он желал свободно же и предаваться, или, окончив общение с людьми, заняться каким-нибудь созерцанием природы. Вторая причина — более личная, а именно: он хотел дышать только носом, чтобы не втягивать сырой и холодный атмосферный воздух сразу в легкие, а вести его обходным путем. Этой мерой, которую он реко-

мендовал всем своим друзьям, он сулил профилактику кашля, насморка, хрипоты и прочих простудных болезней и, пожалуй, не так уж безуспешно, так как его по меньшей мере крайне редко настигали эти болезни. Ко мне эти неприятности при соблюдении данного предписания, хотя и окказиональном, не педантичном, также стали приходить реже. После 6 часов он садился за свой рабочий стол, который был совершенно обычным, ничем не примечательным домашним столом, и до сумерек читал. В это время, столь удобное для размышлений, он обдумывал прочитанное, если оно было особо ценным для обдумывания, или посвящал эти спокойные мгновения наброскам того, что он собирался сказать на следующий день в лекции или опубликовать. Потом он, будь то зима или лето, занимал свое место у печи, с которого через окно мог видеть башню церкви в Лёбенихте. То ли она была всегда перед взором во время этих размышлений, то ли, скорее, его взгляд всегда останавливался на одном и том же. Он не мог четко выразить, насколько благотворным для его взгляда было всегда одно и то же положение этого объекта. В результате ежедневного созерцания в сумерках его глаз мог к этому привыкнуть. Когда со временем некоторые тополя в саду его соседа выросли настолько высоко, что заслонили башню, это обеспокоило его и мешало размышлять, поэтому он выразил желание, чтобы их верхушки были подрезаны. К счастью, владелец сада был здравомыслящим человеком, который любил и уважал Канта и, кроме того, был с ним в приятельских отношениях; поэтому он пожертвовал верхушками своих тополей, так что башня опять стала видна и *Кант*, глядя на нее, мог снова беспрепятственно размышлять.

При свете он продолжал чтение примерно до 10 часов. За четверть часа до того как ложиться спать он по возможности оставлял все тяжкие думы, а также любую умственную работу, даже требующую лишь малого напряжения, чтобы ею не растревожиться и не стать слишком бодрым, потому что любая задержка отхода ко сну была ему крайне неприятна. К счастью, происходило это редко. Он раздевался в своей спальне совершенно один, без слуги, но всегда лишь настолько, чтобы тот в любой момент, не смущаясь, мог появиться и чтобы, поднявшись, никого не смутить. Затем он ложился на свой матрас и закутывался в одеяло: летом хлопчатобумажное, осенью шерстяное, зимой — в оба, а в самые сильные морозы брал одеяло из гагачьего пуха. Та его часть, которая покрывает плечи, не была наполнена перьями, а состояла из пришитого куска толстой шерстяной материи. В многолетней привычке он приобрел особое умение заворачиваться в одеяло. Укладываясь, он сначала садился на кровать, легко нырял под одеяло, протягивал его угол под собой от одного плеча к другому, и — что требовало особой ловкости — точно так же, только в противоположном направлении, протягивал и другой угол одеяла, оборачивая все тело. Вот таким образом упакованный и словно закутанный в кокон, он ожидал сна. Он имел обыкновение часто говорить своим застольным друзьям: *Когда я вот так уложил себя в постель, я спрашиваю себя: «Может ли какой-либо человек быть более здоров, чем я?»* Его здоровье было не просто полным отсутствием всякой болезни; оно было истинным ощущением и подлинным наслаждением в высшей степени хорошим самочувствием; поэтому и засыпал он почти сразу. Ни одна страсть не раздражала его, ни одна печаль не

сдерживала его сон, ни одна боль не будила его. Даже в самую суровую зиму он спал в холодной комнате; только в последние годы его жизни, по совету друзей, он позволил очень умеренно обогревать его комнату. Он был врагом всего, что люди называют заботой о себе и уходом за собой. Его вышеупомянутое одеяло из гагачьего пуха было единственным, что защищало его от мороза. По его словам, требовалось максимум пять минут, чтобы он полностью согрелся. Если в темноте он по какой-то причине покидал свою спальню, что нередко случалось, то надежным проводником к постели ему служила веревка, каждый вечер заново натянутая. Его спальня была лето и зиму напролет темной: днем и ночью окна были закрыты ставнями, по причине очень личной. По ошибке в наблюдениях он пришел к особой гипотезе о появлении и размножении клопов, которую он, однако, держал за непреложную истину. А именно: в другой квартире он для отвода солнечных лучей постоянно держал оконные ставни закрытыми, но во время небольшой поездки за город забыл затворить их перед отъездом и вернувшись нашел свою комнату оккупированной клопами. Так как он думал, что раньше у него клопов не было, то сделал вывод: должно быть, для существования и развития всяких паразитов непременно требуется свет, и недопущение проникновения световых лучей является средством предотвратить их размножение. Должно быть, и другие обстоятельства усилили это его мнение. Возможно, проведенная без его ведома чистка прогнала их, и так как он в это время снова тщательно держал оконные ставни закрытыми, он подумал, что исчезнувшие теперь насекомые были истреблены темнотой. Однако на истинности своей теории он настаивал так упорно, что находил глупостью любое сомнение, даже легкое, любое размышление, даже совсем небольшое. Даже столь убедительный для любого другого аргумент, что во время появления у него первого слуги его кровать была заселена множеством этих насекомых, не мог быть ему противопоставлен, потому что он тут же возразил бы: ставни не закрывались, и дневной свет мог беспрепятственно оказывать свое способствующее воздействие на порождение тех насекомых. Он никогда не жаловался на вред, который ему причинили эти насекомые, и, возможно, находил бы его после перенесенного опыта их присутствия вдвойне неприятным; кто знает, не пошатнулась ли из-за этого в чем-то его убежденность во власти души над ощущениями. Я оставил его при своем мнении, заботился об уборке его спальни и кровати, в связи с чем клопов становилось меньше несмотря на то, что ставни и окна для допуска свежего воздуха почти ежедневно, хотя и без его ведома, открывались. С этого времени он спал крепче, не зная отчего.

Ни днем, ни ночью *Кант* не потел. Возможно, его природа посредством больше боязливой, чем добросовестной избегания всего того, что могло вызвать пот, к этому привыкла. Однако необычным было то, что в своей общей комнате он мог переносить ощутимую теплоту и чувствовал себя некомфортно, если хотя бы одного градуса до нее не доставало. 75 градусов по Фаренгейту должно было быть неизменным показанием его термометра в этой комнате, и если этого не было в июле и августе, то он велел нагревать свою гостиную до требуемого показания термометра. Жарким летом он ходил легко одетым, постоянно в шелковых чулках, которые он никогда не подвязывал, но пытался держать в надлежащем положении собственным

искусственным приспособлением. В футляре, подобном корпусу карманных часов, только меньшего размера, в чехле для пружины, вокруг которого, как цепочка для часов, вилась жильная струна, носилась часовая пружина, стягивающая сила которой могла быть увеличена или уменьшена зажимом. На обоих концах двойной струны были две зацепки, которые цеплялись на обе стороны чулка. В самих футлярах находились похожие на корпус часов, но размером меньше него чехлы с маленькими отверстиями внизу, через которые проходили струны с находившимися на них зацепками. Если бы это устройство не было столь оригинально и не указывало в то же время на любовь Канта к порядку и имевшееся им в виду правило гигиены, согласно которому нельзя нарушать кровообращение тугими завязками, то оно едва ли заслуживало бы упоминания. Для *Канта* эти эластичные чулочные завязки были такой потребностью, что беспорядок, в котором они иногда оказывались, приводил его в замешательство, которое я, к счастью, очень легко устранял. Поскольку, однако, его уже упомянутое легкое одеяние летом при прогулках на воздухе все же не могло полностью защитить от потоотделения, у него и для этого было наготове профилактическое средство. Он продолжал стоять на месте где-либо в тени, как будто он кого-нибудь ждет, пока приступ испарины не проходил. А уж если душной летней ночью у него появлялся хотя бы след пота, он упоминал это событие с важным видом, как будто с ним случилась что-то мерзкое.

Ровно без пяти минут пять утра, будь то летом или зимой, его слуга *Лампе* заходил в комнату со строгим боевым возгласом: *Пора!* В любых обстоятельствах, даже если — что было редкостью — случалась бессонная ночь, Кант ни секунды не медлил со скорейшим выполнением строгого приказа. Часто он за столом с гордым видом задавал своему слуге вопрос: *Лампе, пришлось ли хоть в одно утро за тридцать лет будить его дважды?* «Нет, досточтимый господин профессор», — был четкий ответ бывшего военного. Когда часы били пять, Кант сидел за своим чайным столиком и пил, как он это называл, чашку чая, которую он, однако, будучи весь в мыслях, чтобы сохранять ее теплой, столь часто наполнял, что она превращалась по меньшей мере в две, если не больше. При этом он выкуривал единственную за весь день трубку, надев на голову шляпу, которая уже очень долго использовалась для этой цели. Он выкуривал трубку с такой скоростью, что оставался раскаленный конус пепла, который он, по обыкновению, называл именем одного голландца. За этой трубкой он вновь, как накануне вечером у печки, обдумывал свои планы и в 7 часов обычно шел читать лекции, а после них — за свой письменный стол. Без четверти час он поднимался и кричал кухарке: *Без пятинадцати!* Сразу после супа он делал, как он говорил, глоток, в полбокала, вина — столового, венгерского, рейнского или, если их не было, то бишофа. Это вино кухарка приносила позже. Он шел с ним в столовую, сам наливал его себе и оборачивал бокал бумагой размером в 1/16 листа, чтобы не выдыхалось. Его сотрапезники, наверное, знают, что для *Канта* это была важная вещь, которую он никому просто так не доверил бы и которая была обязательной. Теперь *Кант* ожидал своих гостей, причем даже в последние годы своей жизни — полностью одетым. Предложения от тех, кому он доверял, появляться за столом в домашнем халате он находил неприличными и говорил: *Не следует предаваться неряшливости.*

Вот так один день был похож на другой, и в этом однообразии, которое для него не было ни тягостным, ни скучным, в строгом порядке радостно проходили дни *Канта*. Именно этот порядок и его всегда неизменная диета, видимо, во многом способствовали его долгой жизни, и поэтому он рассматривал свое здоровье и долголетие почти как собственное творение, даже как трюк, как он сам его называл: при столь многочисленных опасностях, которым подвержена жизнь, удерживать равновесие при всех перипетиях. Он справлялся с этим настолько хорошо, как цирковой гимнаст, который долго удерживается в равновесии на провисшем канате, ни разу не поскользываясь. Любую атаку болезни он триумфально отбивал и все же был достаточно беспристрастен, чтобы иногда говорить: жить так долго, как он, всегда будет немного неприлично, потому что молодые люди из-за этого поздно получают свой хлеб. Эта забота о сохранении здоровья была также причиной, по которой его так сильно интересовали все новые системы и изобретения в медицине. Самым значимым изобретением такого рода он считал броуновскую систему². Когда ее признал и опубликовал Вайкард, ей доверился и *Кант*. Он считал ее значительным прогрессом, который сделала бы не только медицина, но вместе с ней и все человечество, если бы это для него стало нормой: после долгих и сложных обходных путей всем вместе вернуться, наконец, к простому. И он сулил еще много прочего добра от нее, в том числе в финансовом отношении для пациентов, которым бедность не позволяет использовать дорогие и сложные лекарства. Поэтому он страстно желал, чтобы эта система вскоре обрела много последователей и повсеместно использовалась.

Однако совершенно противоположного мнения он был вначале о том, насколько полезно для человеческого рода выведение коровьей оспы, о котором сообщил Д. Йеннер. Он еще очень долго отказывался называть это вакциной от оспы и даже полагал, что человечество может стать чересчур звероподобным и что ему может быть привита некоторая доля грубости (в физическом смысле). Еще он полагал, что при смешении животных миазмов с кровью или хотя бы с лимфой людям может быть передана восприимчивость к эпизоотии. Наконец, он также сомневался, ввиду нехватки подтверждающих опытов, в способности этого противостоять человеческой оспе. Поскольку же все это, по меньшей мере, имело под собой почву, было все же занятно взвешивать различные доводы за и против.

Попытки *Беддо* заразиться чахоткой, вдыхая живой воздух, и вылечить ее, вытягивая удушливый газ, как и метод *Райха* поднимать температуру, произвели на него большое впечатление, которое, однако, вместе с провалом этих затей, особенно последней, закончилось разочарованием. Теорию гальванизма и описание его феноменов, несмотря на все приложенные усилия, он не смог полностью понять. Сочинение *Августина* об этом предмете было одно из последнего, что он читал и к чему он еще писал карандашом заметки на полях. Меня он в конце жизни просил сделать для него конспекты того, что я об этом читал.

Мало-помалу к нему подкрадывались слабости возраста, и признаки этого становились все заметнее. Казалось, будто то, что всю жизнь было не-

² Имеется в виду медицинская система Джона Броуна (примеч. перев.).

достатком *Канта*, хотя и незаметным, а именно особый род забывчивости в делах повседневной жизни, с годами разрослось. Он сам признавался, что очень часто позволял себе этот недостаток, и в подтверждение приводил следующую историю из ранних лет его жизни. Совсем еще маленьким мальчиком он по дороге из школы, по определенной причине, о которой легко догадаться, на несколько мгновений останавливался под одним окном, вешал свои книги на засов ставней и забывал их оттуда забрать. Вскоре затем он слышал вслед себе робкий оклик незнакомой ему пожилой добродушной женщины, которая, тяжело дыша, догоняла его и очень любезно вручала ему его книги. Он и в последние годы своей жизни не забыл поведение этого человека, а также не держал втайне то, что забывчивость уже тогда была для него обычным делом. Что раньше случалось реже, с возрастом происходило чаще. Он начал повторять свои рассказы по несколько раз в день. Отдаленнейшие события прошлого отчетливо представляли ему во всей живости и подробности, настоящее же, как это часто бывает у стариков, все меньше занимало его внимание. Он мог с умением, достойным восхищения, декламировать длинные немецкие и латинские стихотворения, но только такие, которые полны вкуса, остроумия и забавных описаний и благодаря этому могут заметно развлечь компанию. Наиболее впечатляющие места из латинских стихотворений, особенно целые фрагменты из «Энеиды», он мог воспроизвести без запинки, в то время как то, о чем говорили только что, выпадало из его памяти. Он сам замечал ослабление своей памяти и поэтому, предотвращая повторы и заботясь о разнообразии общения, записывал темы на специальных маленьких листочках, конвертах от писем и бесформенных обрезках бумаги, число которых со временем настолько выросло, что требуемому записку обычно стало трудно найти. Когда в августе 1802 г. белили его кабинет, он хотел их все сжечь. Я просил и получил разрешение взять их себе. Некоторые из них я храню до сих пор и оберегаю их как реликвии, при взгляде на которые вспоминаю то, что было об этом сказано, вспоминаю бывшие приятные и полезные беседы. Для примера представлю одну из записок, случайно выбранную, и напишу, опуская то, что либо относится к его кухне, либо вообще не предназначено для посторонних глаз, дословно короткое незаконченное предложение: «Азотная кислота — более удачное название, чем селитровая кислота. Атрибуты здоровья. Clerici, Laici. То правильное, это секулярное. О бывших советах моим ученикам, как не допускать ни капли насморка и кашля (дыхание носом). Слово Fußstapfen («след ноги») — неправильное, должно быть Fustappen. Азотная кислота — кислотное основание селитровой кислоты. Зимний подшерсток (фломоџ), который есть у ангорских овец, да даже у свиней, которых вычесывают в высокогорьях Кашмира, известный в Индии под названием Shalws, который очень дорого продается. Схожесть баб с розовым бутонem, расцветшей розой и плодом шиповника. Мнимые духи гор, водяные, домовые, Duros и т.д.». На замену этим записочкам я сделал ему маленькую переплетенную книжечку из почтовой бумаги в 1/16 листа.

Вторым признаком слабости была его теория о воистину удивительном феномене: вымирании кошек в Базеле, Вене, Копенгагене и других местах. Он считал это следствием электричества особого рода, которое, по его мнению, тогда господствовало и оказывало особенно разрушительное воздействие именно на этих животных, которые сами по себе электрические. Вдо-

бавок он хотел в каждой эпохе и следующем за ней времени видеть особую форму облаков. Их границы казались ему нечетко обрисованными, небо виделось затянутым ровнее обычного и покрытым облаками, не похожими на горы. Причиной этого полагался как раз тот самый вид электричества. Но не только облака, похожие на разлитую воду, не только вымирание кошек, нет, еще и свои головные боли он выводил из той же причины. Однако то, что он называл головными болями, было скорее той слабостью, которая свойственна наступившему возрасту: он больше не мог думать с прежней легкостью и столь же отчетливо, как привык раньше. От любых возражений в адрес своей теории он пытался уклониться. Его убежденность в ее достоверности была усилена еще и тем, что его друзья, из снисхождения и деликатности по отношению к нему, не противоречили ему напрямую. Ему охотно позволяли личную убежденность в том, что его состояние зависит от влияния погоды, потому что все-таки ничто больше не допускает такой легкой перемены, пусть даже и в отдаленнейшей перспективе, как эта надежда, которая делала его снова мужественным и довольным. Разве стал бы кто из сочувствовавших ему друзей своим бесполезным сомнением затмевать этому страдальцу еще хоть немного светлую перспективу? Разве стал бы кто-то своим возражением похищать у него последнюю надежду стать лучше? Его ежедневно и по несколько раз в день повторявшееся непоколебимое утверждение, что не что иное, как этот вид электричества, является причиной его недуга, оставляло его друзей без малейших сомнений в том, что его природа берет свое и что он начал опускаться под тяжестью лет. *Кант*, великий мыслитель, отныне переставал думать.

Возможно, в этом будут склонны заметить определенный род скрытого тщеславия, как будто он под влиянием своего бывшего величия желал отрицать, скрыть или приукрасить свою наступающую слабость. Ничего подобного; его собственные высказывания решительно оправдывают его перед подозрениями такого рода.

Уже в 1799 г., когда все это было еще едва заметно, он однажды, объясняя свою слабость, при мне сказал: *«Господа, я стар и слаб, вы должны относиться ко мне как к ребенку»*.

Можно подумать, что он боялся приближающейся смерти, и в особенности, ввиду усиливавшихся головных болей, ежечасно ему грозившего апоплексического удара. Может быть, из-за прочно укорененных жизненных привычек усилилась его привязанность к жизни, как это часто бывает у стариков? Нет! Этого тоже не было. Он всегда оставался способным к смирению с этим и к спокойному ожиданию смерти. Заслуживают внимания и его высказывания об этом, которые уже, будучи, правда, изъятными из контекста, опубликованы в другом месте. *«Господа, – говорил он, – я не боюсь смерти, я сумею достойно умереть. Богом клянусь, что если бы этой ночью я почувствовал, что умру, то мне захотелось бы, подняв и сложив руки, сказать: Слава Богу! Да, если бы злой демон сел мне на шею и шептал в ухо: Ты сделал людей несчастными! – тогда это было бы несколько иначе»*. Это слова человека абсолютно честного, который, столкнувшись с недобросовестностью, не продал бы свою жизнь, который часто внушал себе и сделал почти своим девизом следующее: *Crede summum nefas, animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas*³. Кто из его сотрапезников был свидетелем

³ Помни, что высший позор – предпочесть бесчестие смерти и ради жизни утратить смысл жизни (Ювенал, пер. с лат.) – примеч. пер.

того, как *Кант* говорил о своей смерти, тот подтвердит, что в нем при этом не таилось никакого лицемерия.

Постепенное истощение сил старца, утомленного своей работой, вносило все новые и новые изменения в его устоявшийся образ жизни. С давних пор он привык идти спать в 10 часов вечера и быть разбуженным в пять часов утра. Последней привычке он остался верен, а первой нет. Хотя силы у него еще были, ему все-таки уже пришлось начать очень бережно их расходовать. Вначале он прибавлял ко времени своего сна по несколько минут, которые, однако, очень скоро выросли до нескольких часов. В 1802 г. он укладывался уже в 9 часов, а потом и еще раньше. Он чувствовал себя подкрепленным этим продлением своего отдыха. Он почти уже поверил в то, что нашел действенное средство приумножения своих сил, и поэтому увеличил его использование, но уже с меньшим успехом.

Свои прогулки он ограничивал коротким променадом в Королевском саду недалеко от его дома. Чтобы шагать устойчивее, он тогда использовал один прием. Он ставил ногу под таким углом, чтобы она слегка зарывалась в землю — отчасти для того, чтобы, когда подошва уже целиком касалась земли, увеличить площадь опоры; отчасти же для того, чтобы тверже ступать по песчаной почве. Тем не менее однажды он на улице упал. Две дамы поспешили помочь ему, потому что сам бы он не справился. Он очень благодарил этих незнакомых ему дам за активную помощь и подарил, все еще верный основам своей вежливости, одной из них розу, которую в тот момент держал в руке и которую она с величайшей радостью приняла и хранит на память.

Вероятно, это падение было причиной, по которой он впоследствии совсем оставил свои прогулки. Суждения его друзей на этот счет разделились: *Кант* больше не мог выходить ввиду слабости, или прекращение движения еще больше ослабило его. Его работа, которая заключалась больше в чтении, чем в письме, также протекала теперь медленнее. Любое занятие, особенно если оно требовало телесных перемещений, стало для человека, прежде столь подвижного, тяжелым. Всё более отказывали его ноги. Он падал как при ходьбе, так и когда стоял, хотя почти никогда при этом не травмировался, над каждым таким случаем смеялся и говорил, что не может тяжело упасть ввиду легкости его тела. Часто, особенно по утрам, он от слабости засыпал на своем стуле, во сне падал с него, не мог сам подняться и оставался неподвижно лежать, пока кто-нибудь не приходил. Потом он заменил свой обычный стул другим, у которого спинка была изогнута по кругу, и с этого времени таких досадных случаев с *Кантом* не происходило.

Это несвоевременное засыпание было опасным для него еще и в другом отношении. Во время чтения он три раза, один за другим, опустился головой на светильник. Хлопчатобумажный ночной колпак загорелся и запылал открытым огнем на его голове. Не испугавшись, однако, этого, он снял его голыми руками и, не замечая боли от ожога, спокойно положил его на середину пола и затоптал ногами. Я тем временем объяснил ему, что этот отчаянный поступок был опасен, ведь пламя могло охватить его халат и он бы запросто сгорел. С тех пор я стал держать наготове на его столе стакан и бутылку с водой, заставил его сменить форму ночных колпаков и просил

следовать моему совету — в случае повторения чего-то подобного не пытаться затоптать пламя ногами. Благодаря этим мерам и увеличенному расстоянию до светильника, к которому *Кант* вскоре привык, удалось уберечься от опасности, которая могла принести беду не только ему, но и другим.

Тратить свои деньги не переплачивая *Кант* больше не мог. Одной честной женщине он должен был заплатить пять талеров за фитили и вместо половины гульдена дал целый, а потом и еще двойную сумму. Женщина уже хотела взять все деньги себе, когда заметила ошибку *Канта* и вернула половину суммы. Он тут же сказал о своей ошибке, чтобы не замалчивать честность женщины. Но, пожалуй, не все из тех, кто принимал от него деньги, были так же честны, как эта женщина. Некоторые, несомненно, использовали слабость *Канта* неблагоприятным образом.

Подобные случаи, приносившие ему убытки, и ощущение нарастающей слабости, а также убежденность в том, что вскоре ему понадобится посторонняя помощь, — все это больше и больше склоняло его ко мне. Он постоянно себе что-то отмечал для того, чтобы обсудить это со мной, спросить у меня совета или попросить купить нужную ему вещь. Сколь нежелательны ему были, особенно в молодые годы, неожиданно пришедшие к нему друзья, столь же явно он теперь начал изъявлять желание, чтобы я, если позволяет время, мимоходом к нему заглядывал и осведомлялся, чем он занят. Он просил об этом настолько — для меня — заманчиво, что я охотно исполнял его желание. Но вскоре произошел случай, который мог склонить меня к отказу от дальнейших визитов. Я пришел, намереваясь узнать, всего ли ему хватает для удобства и не нуждается ли он в чем-то, могу ли я словом или делом ему помочь; но он вел себя только как радушный хозяин, причем с видимым напряжением, и был скорее галантным, чем непринужденным. Вследствие этого я попытался повернуть дело иначе, сократив свои последующие визиты до нескольких минут, и таким образом избавил его от тяжести общения. Когда мне было что сказать, я задерживался дольше, но порывался уйти, как только замечал, что общение его утомляет. Некоторое время прошло в этой определенной дистанции.

Ко всему перечисленному прибавилось еще одно обстоятельство, вынуждавшее участить визиты. До некоторых пор его финансовыми делами занимался г-н D.J., которому *Кант* полностью и заслуженно доверял. Но этот друг *Канта* покинул Кёнигсберг, и, таким образом, естественно, прекратилась помощь, которую тот ему оказывал, пока был в городе. Думаю, что если бы не случилась эта разлука, он едва ли так быстро привязался бы ко мне. Человек, который тщательно проверял свои принципы, искренне исповедовал их и строго держался их в своем поведении, не допускал таких ошибок, как нерешительные колебания, переменчивость и легкомыслие в дружбе и доверии.

Правда, его застольные друзья тоже стремились уделить ему в помощь довольно много своего внимания, так что почти каждый брал на себя заботу об одном из направлений его быта. Один из его друзей, приезжий, которого *Кант* очень уважал, даже присматривал за его кухней. Ко мне он обращался, когда ему доставало белья и предметов одежды или когда были необходимы починки в его доме. Но в удовлетворении всех этих нужд ему не хватало еще кого-то, кто взял бы на себя его денежные дела и почти все его домашние заботы.

Сколь искусен был *Кант* в труде умственном, столь же беспомощен он был в труде физическом. Он умел повелевать лишь перьями, но не перочинным ножом. Поэтому вырезать перья по его руке должен был обычно я. Лампе еще меньше был способен устранять какие-либо неполадки в домашнем быту. Он никогда не замечал причины, по которой вещь отказывалась служить, он больше применял просто силу и хотел одними руками сделать то, что не могла осилить его голова. Для такого метода часто был дорог хороший совет. Великий теоретик Кант и скромный практик в области механики Лампе, тот — целиком голова, этот — сплошная рука, часто были завалены ненужными вещами. Тот ставил задачу починить вещь, этот осуществлял устранение, но не проблемы, а самой вещи, которую он часто ломал неправильно приложенной силой. *Канту* было в высшей степени приятно, когда мелкие неполадки наподобие скрипа или затруднений в открывании и закрывании дверей устранялись тотчас, без посторонней помощи, с легкостью и особенно без шума. Или когда исправлялся неправильный ход его часов (которые *Кант* настолько любил, что иногда говорил: будь он в нужде, они были бы последним из того, что он продал бы). Мне, имевшему опыт механических ручных работ, подобные дела давались легко. Привыкший отыскивать сначала корень зла и нежелательных эффектов, я быстро находил дефект и устранял его часто даже без инструментов. Быстрота, с которой это порой происходило, вызывала удивление и радость *Канта*, особенно тогда, когда сам он полагал дефект неустраняемым, так что он иногда говорил обо мне, что я во всем знаю толк. Я бы умолчал здесь об этом высказывании, если бы оно не могло сойти за объяснение того, почему *Кант* своим прочим сотрапезникам предпочел именно меня. Вероятно, убывание сил побуждало его найти кого-то, кто, по его впечатлениям, был достаточно толковым. Помимо этой причины, он еще мог заметить, что важные и многочисленные дела его прочих друзей не позволяли бы им заботиться о нем ежедневно и так, как того, безусловно, требовало его состояние. К этому присоединилась малая удаленность моей квартиры от его дома и уверенность, что у меня не предвидятся, как у других его близких друзей, далекие и долгие деловые поездки, которые бы разлучали меня с ним.

Совокупность перечисленных выше нескольких обстоятельств не оставляет сомнений в том, что, выбрав меня себе в помощники, Кант не упустил из виду большие достоинства других его друзей, а принял это решение лишь ввиду названных обстоятельств. Возможно, дополнительной причиной выбрать меня была также пунктуальная поспешность, с которой — с помощью моей семьи — выполнялись его просьбы. Как раз быстрая покупка какой-либо вещи приносила ему большое удовольствие. Если на свой вопрос «На месте ли оно?», — он получал ответ его же собственными словами: «Да, на месте!», — то он с заметной радостью восклицал: «О! Это прекрасно!». Простое «Да!» было для него слишком слабым утверждением.

В качестве третьего симптома его слабости можно рассматривать то, что вместе с ее увеличением он терял чувство времени, особенно небольших его отрезков. Минута и более короткие промежутки времени казались ему, без всякого преувеличения, непропорционально долгими. Он совершенно не мог убедить себя в том, что выполнение какого-либо дела, завершенного скорейшим образом, не затянулось.

В начале последнего года его жизни ему иногда приходило на ум, вопреки его прошлой привычке, по окончании обеда, когда все приборы еще были на местах, выпивать вместе с гостями, и особенно когда у него обедал я, чашку кофе, во время чего мне, против моего желания, приходилось выкуривать трубку табака. Уже за день до того, как я приходил обедать, он чрезвычайно радовался моему визиту, кофе и трубке, никогда, однако, не составляя в этом компанию. За столом он часто говорил о том, что было отмечено в его книжечке, которую я ему сделал вместо тех бумажек. Так как этот нововведенный, едва ли полезный для пищеварения десерт часто удлинял обед и отнимал у меня слишком много времени, я стал пытаться по возможности избегать его. Часто Кант, сильно увлекшись беседой, забывал о том, что здесь же за столом сижу я, его *ex officio*⁴ курящий гость. Иногда в таком случае этот десерт забывался, чему я был особенно рад ввиду моих опасений, что кофе, этот непривычный для него напиток, может усилить его ночное беспокойство. Но если попытка заставить его забыть о кофе не удавалась, дело становилось несколько хуже, особенно если время было уже позднее. Проявления нетерпения, по-прежнему кроткого, порой были очень наивными и вызывали смех. Кофе должен был быть сделан *на месте* (его обычное выражение). Обеспечить его скорейшее приготовление были призваны все мероприятия того дня, в который я у него обедал. На завершение этого столь важного для него дела могли быть брошены последние силы. Слуга стремглав спешил насыпать кофе в уже кипящую воду, дать ему повариться и принести его наверх; и все же то короткое время, которое было для этого необходимо, длилось для него невыносимо долго. На любое утешение он находил другие возражения и никогда не испытывал затруднений в изменении формулировок. Если говорили: «Кофе сейчас будет подан», — то он парировал: «*Да уж, будет*; в том-то и проблема, что он еще только будет подан». Звучало бы: «Он скоро придет», — Кант бы добавил: «*Да уж, скоро*; целый час — это тоже скоро, и уже с давних пор говорят это "скоро"». Наконец, со стоическим спокойствием он сказал: «Пока дождешься, можно умереть; а в мире ином я уже не захочу кофе». Он также был склонен вставать из-за стола и довольно внятно кричать в дверь: «Кофе! Кофе!» Когда же он наконец слышал, что слуга поднимается по лестнице, он громко ликовал: «Вижу землю!» — как матрос на смотровой мачте. Остывание кофе длилось для него тоже слишком долго, хотя напиток тут же разливался в несколько чашек. Когда же он наконец был полностью готов к тому, чтобы им наслаждаться, гости слышали еще и «Ура, милостивые господа!»⁵, — в котором он от радости особенно твердо произносил «р», а когда все было выпито, — «И на этом баста!», что произносилось в том же темпе, в котором он ставил на стол пустую чашку.

Чтобы несколько смягчить его нетерпение, я делал запасы всех тех вещей, которые он требовал и которые не слишком легко портились, или отдавал свои. Эта мера очень облегчила его дни, бывшие в остальном столь безрадостными; он даже начал верить, что без моей помощи он бы, пожалуй, не выдержал. Поэтому я взял за правило приходить к нему каждый день на полчаса.

⁴ По должности (лат.) — примеч. пер.

⁵ Дословно по-немецки «Heisa Kurage, meine Herren!»

Из всего вышесказанного можно предположить, что отмеченные идиосинкразии *Канта* при его растущей слабости легко могли перейти в нечто вроде упрямства, которое привело бы к некоторым неудобствам при более непосредственном общении с ним. Я, исходя из этого, определил для себя необходимые принципы, которые бы хотел соблюдать, чтобы облегчить положение себе и ему. При всем моем уважении к этому великому человеку, я никогда не позволял себе какой-либо угодливости, отзывался о нем откровенно, но без малейшей дерзости и твердо стоял на том, что считал для него решительно необходимым и полезным. Без сомнения, такое поведение вызывало в нем все большее уважение ко мне. *Кант*, как человек благородный, сильнее всего ненавидел нищенское раболепие. С годами к нему закрадывались ошибочные мнения, некоторые безосновательные подозрения, иногда он ворчливо высказывался о своей прислуге. В большинстве тех случаев, когда он ошибался, я хранил глубокое молчание. Если он спрашивал мое мнение о тех случаях, в которых он был неправ, то я ему искренне отвечал, что не могу согласиться с его мнением по тем или иным причинам, на которые я ссылался исходя из сути дела. Противоположное этому поведение, льстивость и пристрастность, определенно были бы вернейшими средствами к тому, чтобы утратить его доверие и уважение, потому что каждый благородный человек охотнее стерпит мягкое и обоснованное возражение, чем трусливую и пристрастную податливость. И тем, кто соглашается с чьими-либо опрометчивыми суждениями и потакает непозволительным желанием, в итоге последующей трезвой оценки и спокойной проверки обычно отвечают глубоким презрением.

Однако в ранние годы *Кант* еще не привык терпеть возражения. Его проницательный ум, всегда готовое к применению и часто едкое, по обстоятельству, остроумие; его обширная эрудиция, которую он мог использовать в любом разговоре и которая не оставляла шансов навязать ему чужое мнение или получить от него согласие с неправдой; его общепризнанно благородные принципы; его высокоморальный образ жизни — все это обеспечило ему такое превосходство над окружающими, что он был надежно защищен от вспыльчивых возражений. Когда же кто-нибудь в компаниях осмеливался противоречить ему слишком явно и в манере, претендующей на остроумие, он умел так неожиданно повернуть разговор, что все склонялось к его мнению и даже самый отважный остряк приходил в замешательство и умолкал. Поэтому было весьма неожиданным, что он выслушивал приводимые мной аргументы спокойно, с испытующей строгостью, но без какого-либо неудовольствия. Настолько любезным оставался великий муж, даже будучи бессильным стариком. Часто он без малейшего промедления, без возражения отказывался исполнять даже очень сильное свое желание, если я указывал на вредность ононого для его здоровья, и отказывал даже старым своим привычкам, если я обращал его внимание на то, что его нынешнее состояние требует изменений в них. А если уж потом он привыкал к новому, лучшему порядку вещей и видел преимущества моих предложений, то благодарил меня, будучи очень тронут моей настойчивостью. Я упорно избегал прямых споров с ним, обычно дожидаясь удобного момента, когда он был в относительно спокойном состоянии, но зато неустанно повторял свои предложения, особенно если некоторые из них уже

сразу сеяли в нем сомнение, пока они не принимались. Поэтому он никогда и не отказывал мне напрямую. Его просьба об отсрочке выполнения какого-либо предложения часто бывала весьма трогательной, особенно когда надо было сменить белье. Поэтому я предупреждал об этом заранее, чтобы некоторая отсрочка все же никак не сказывалась на его чистоте. Сколь сильно Кант ее любил, столь же настойчиво он, однако, протестовал против применения этих правил чистоплотности к нему самому под предлогом того, что он никогда не потел.

(Продолжение следует)

Перевод с нем. А. С. Зильбера, под ред. И. Д. Коцьева

О переводчиках

Зильбер Андрей Сергеевич – ст. преп. кафедры философии и культурологии Калининградского государственного технического университета, a-zilb@ya.ru

Коцев Иван Демьянович – д-р филол. наук., профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта, ivan.kopcev@mail.ru

About translators

Andrey Zilber, senior lecturer, Department of Philosophy and Culturology, Kaliningrad State Technical University, a-zilb@ya.ru

Prof. Ivan Koptsev, Department of Language Theory and Cross-Cultural Communication, Immanuel Kant Baltic Federal University, ivan.kopcev@mail.ru